

ИСКУССТВО И ПЕДАГОГИКА

Опровержение цинизма

Сейчас люди искусства, устав от банального вопроса о «творческих планах», охотно переадресуют его... педагогам! И добавляют еще десяток-другой накопившихся за последний год вопросов: иные из них покажутся наивными... Вот например: нужны ли основы законодательства о школьном образовании в нашем истолковании их текста, смысла? Может быть, всякий Закон потому и является таковым, что не зависит от нашей субъективности — в отличие, скажем, от текста пьесы «Чайка»? Каждому театру вольно интерпретировать эту «Чайку» по-своему, и она, беззащитная, почти не в силах противиться — разве что может умереть, задохнувшись в тисках ложного, грубого постановочного решения. Но Закон — он-то не столь хрупкая и нежная материя, он в состоянии себя защитить?! Ограждают его от такой «режиссуры», помогут ему осуществиться верно? Мы твердо на это рассчитываем! Но ведь, даже гарантируя такую охрану Закона, мы волей-неволей исходим из тревожной вероятности превратного, казенно-формального, бездушного толкования его смысла... О, конечно же, ему будет горячо солидарны с этим вторым, оставив в жалком меньшинстве сторонников первого — так? Хорошо бы... Только решительно никто не готов признать свой взгляд или метод бездушным, казенно-формальным и т. д. Извольте еще доказать людям, искренно убежденным в своей правоте, что не правота это вовсе, а заблуждение! Значит, надо быть во всеоружии опыта, логики, эрудиции, доброжелательности и терпения: достанет ли всего этого у тех, кто прав? А главное — как оторвать представление о правоте от личного или группового эгоизма, самолюбия и сделать неотрывным от интересов детей, от реальной, непедагогической заботы о будущем, то есть — от сверхзадачи Закона?

Такие вопросы, на которые ответишь не вдруг, проясняют истину простую, но и коварную: как бы ни стремился к строгой однозначности текст Закона, все равно он доверчиво обращен к нашему разумению и доброй воле. К «человеческому фактору», который является первым и последним фактором любого прогресса...

Кроме нововведений, Закон о школе, документы о школьной реформе требуют качественных сдвигов в решении старых, постоянных и повседневных задач просвещения. Ждать успеха от одних новшеств нельзя, по-моему, не отнесясь критически к некоторым из старых звеньев, не обеспечив их надежностью. Если в педвузе студента не научат искусству увлекать и будить мысль, если регламентация съест творческую свободу учителя, или он окажется к этой свободе не готов из-за личной своей зашоренности, если семья и школа станут валить все «шишки» друг на друга вместо того, чтобы соединиться в общей работе, если в учебе будет ощущаться прежний дефицит «витаминов» У. Д. Р. — Удивления, Дерзания, Радости, — тогда реформа окажется выходящей из моды. В каком случае можно будет торжествовать победу реформы? Я предложил бы такой ответ: когда творческому, любимому ребятами учителю станет легче делать его дело, а плохому, ошибочно выбравшему эту профессию в пору будет уйти и перекалцифицироваться! Реформа победит, если тех, для кого школа существует, будет прямо-таки тянуть туда по утрам — это не утопия, не фантастика, это мечта достижимая, я сам учился в такой школе, где жилось интересно и куда нередко ноги сами вели! Реформировать надо прежде всего ситуацию, при которой школьники не верят в реальность таких школ! Темна и тягостна ситуация, когда глумливым смехом неверия встречают мечту о такой школе или ностальгию по ней... Чем привлекательна вся эта

проблематика для меня, немало писавшего о школе для кино и театра? Гулкостью своей — едва ли не в первую очередь. Тренишь одно звено — отзовется в дюжине других, самых отдаленных! Применительно к искусству такая многоотзывчивость темы — это и есть так называемый «комплексный подход», без которого ни в политике, ни в экономике сейчас не решается ни одна задача. Я бы даже сказал так: степень этой гулкости и отзывчивости, с которой удается нам воплотить школьную тему в книге, на экране или на сцене, определяет меру нашей удачи. Если бы, к примеру, с тюзовской сцены заговорили сейчас о школьной реформе, и только о ней, — в какую-то странную абстракцию впал бы театр, начал бы незаметно для себя перемалывать пустоту... А вот там, где речь идет об основах жизни, художники имеют много шансов оказаться в сфере действия школьной реформы — даже ни разу не упомянув о ней!

— О чем ваша новая вещь? — спрашивает меня режиссер одного ТЮЗа. — Что-нибудь актуальное, надеюсь? Связанное с реформой?

— Актуальное, да... И связанное, — отвечаю я, стараясь не улыбаться. — Действие происходит в одном королевстве... Туда попадает некая голубая роза, чей колдовской аромат заставляет всех и каждого говорить одну только правду...

— Позвольте... но это же сказка?! — обижается собеседник и, пожав плечами, отходит. Зато его коллега из другого города поздравляет меня с тем, что эта сказка включена в репертуар. Там нашлись прозорливцы, усмотревшие в какой-то общий подтекст или пафос — в моей сказке и в Законе о школе и школьной реформе! Какой же?

— Опровержение цинизма! Помните? В Законе ни слова об этом нет, но между строк это легко вычитывается... по профес-

сиональной привычке, должно быть. Противостоят цинизму — нет ничего важнее! И в педагогике, и в искусстве... Согласны?

Я не просто согласен — я счастлив: единомышленник нашелся, соратник, близкая душа! То, зачем существует искусство и в чем оно смыкается с высшими целями коммунистического воспитания, я всегда понимал именно так: производство духовных витаминов, помогающих человеку — особенно юному! — противостоять цинизму, крепить иммунные силы души, оберегающие от жуткой этой болезни. «Бойтесь цинизма!» — твердил я, когда меня попросили что-то сказать на выпускном вечере, где сына моего увенчали аттестатом об окончании школы. Циники способны мстить людям и самой жизни за собственную опустошенность, цинику «чем хуже — тем лучше». Это моральная радиация, ползущая как бы за тем, чтобы предвзреть (не паникой, а скукой!) якобы неизбежный ядерный «конец света», заставить людей безвольно опустить руки, потушить надежду и интерес к будущему, бесстыдно упростить все жизненные цели, сводя их к сытости, к наживе, к необременительному для души развлечению... При виде этой опасности Ф. М. Достоевский долгом считал прямо-таки «бить в рельсу»: «...началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершается хладнокровно»; «убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана». Это из «Дневника писателя». А вот из «Подростка»: «...нынешнее время — это время золотой середины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового... Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России, все живут, только бы с них достало...».

Если есть хоть малейшее основание переписывать эти сло-

ва из старой книги в сегодняшнюю статью — совокупная ответственность педагогики и искусства резко возрастает! Не зря открытая публицистика прорывается на страницы новой повести В. Распутина «Пожар»: बताют обстоятельства и темы, в которых русскому писателю нельзя не быть учителем. Какая досада, что непосредственно к школе, к ее проблематике не обращен сейчас талант такого каллибра! Хуже того: ощущается некая боязнь этой проблематики, вполне объяснимая боязнь: прежние образчики и схемы школьных конфликтов выглядят отработанными, устаревающими, а новых не видно в искусстве, и вся тема представляется «целиной», вновь ожидающей первопроходцев. Не от избытка пьес о школе некоторые ТЮЗы попросили меня сделать сценическую версию киноповести «Доживем до понедельника». Успело, оказывается, вырасти целое поколение, «неохваченное» этим фильмом, — и эти зрители знакомятся со сценическим учителем истории Мельниковым вне всяких параллелей с игрой Вячеслава Тихонова; тем же, кто постарше, как раз интересно проводить такие параллели. Сейчас, в пьесе «Подсвечник Чаадаева», он выглядит не так импозантно и его правота еще придиравее «берется на зуб», и, может быть, побольше горечи к ней примешано. Но сила Мельникова, видимо, в том, что он не ограничивается горькими констатациями, а пробует что-то менять — в себе и вокруг. Реформировать, уточню я с нажимом, чтобы вплотную сомкнуться с главной задачей школы. Сейчас великая нужда в людях, которые берутся «укорачивать плохое», а не просто вздыхают, что оно разрослось. Многовато стало притерпевшихся, разводящих руками, отшучивающихся от серьезных вещей, не замечающих, что цинизм засасывает уже их самих, а не только их знакомых... В образе мельниковского антипода, словесницы Свет-

ланы Михайловны мой зритель чувствует еще больше «субъективной правды», чем прежде: есть, есть за что пожалеть ее — как человека, как женщину... но учитель ли она? Семнадцать лет назад задан вопрос — и открыт еще!

Самое трудное для изображения, для художественного исследования — сами ребята. Созвучен ли им, нынешним, сидящим в зале, мой Геночка Шестопал с его романтическим бунтом против ханжества? Похоже, что теперь многие его ровесники снисходительно покрутят пальцем у виска: не в себе, мол, товарищ... зачем сжигал сочинения? зачем «в бутылку полез»? Неужели они согласились со счастливым Генкиным соперником Костей Батищевым, что надо «на все смотреть сквозь «теорию выведенного яйца»... что классное сочинение — не место и не повод для искренности? Но где находят они такие места и такие поводы, ищут ли их вообще? Слишком хорошо известно, что именно не устраивает их, от чего они хотят отгородиться, но за этой загородкой, в своем «микромире» — каковы они? Не имею пока внятных, непротиворечивых ответов. И мучаюсь этим. Заклеймить их как «модерновых» дикарей, «неоаваров»? Констатировать их «принципиальную» неспособность к сочувствию, их равнодушие к любому правдоискательству, их глухоту к мало-мальски сложной, неразвлекательной культуре? Нет. Вспомогательные в сына, в его друзей — и не позволяю себе таких размашистых приговоров: эти ребята ни в коем случае не таковы. Не углублять рытвин между поколениями, но вносить некий творческий вклад в дело нашего взаимопонимания с молодежью! Вот один такой опыт недавно был сделан — я имею в виду нашу с режиссером Л. Нечаевым двухсерийную телевизионную картину «Рыжий, честный, влюбленный», ленту, предназначенную именно для «общесемейного зрительского»... В основе —

сказочный шведский сюжет про лисенку, отказавшегося от хитрости и коварства, но пафос фильма можно опять-таки определить как сопротивление цинизму. Не формулируя эту идею заранее, берясь за самые разные сюжеты, я почти всякий раз убеждаюсь: бил и бью в одну и ту же мишень, вот и эта стрела летит, как и предыдущая, в ненавистную мне рожу цинизма!

В сказках, надо признать, этот противник одолевается легче, чем в жизни. Даже если не злоупотреблять волшебством, колдовством. Там поэзия помогает герою, удешевляет силы его! А у нас? У нас она стоит на своих стеллажах, спрессованная в аккуратные томики, словно ей, прекрасной и бессмертной, нет дела до нашей повседневной, иногда изнурительной прозы. На самом деле это не так: поэзия — от Катюлла до Окуджавы! — подобна нераскупоренному лекарству, которое в двух шагах от пациента, остро нуждающегося в нем, — не знает он, не догадывается, что как раз оно-то и утоляет боль...

В пространстве школьной темы дышит сейчас не так, как в поэзии и в сказке, — труднее. Но именно поэтому необходимо преодолеть сомнения, опасения и вернуться туда. Не затем лишь, чтобы отобразить более или менее достоверно, узнаваемо и занятно, как обстоят там дела. А затем — это идеальный вариант, конечно, — чтобы помочь. Чтобы снабдить и учителя, и ребят спасительным эликсиром поэзии; только добывать его придется не из готовых чарующих строк, а из той самой подчас изнурительной прозы, из людских чувств, рождающихся на глазах и способных передаваться вам, сидящим в зале... Такие вот намерения. Не «разоблачают» они меня как уже несправимого сказочника и утописта?

Георгий ПОЛОНСКИЙ, драматург, лауреат Государственной премии СССР.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
Г. Москва

10 ДЕК 1985